

Владимир Шапко

ЗАПЕЧНЫЙ ТАРАКАН

Повесть



16+

Владимир Шапко

Запечный таракан

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57002878

SelfPub; 2020

Аннотация

Повесть о любви застенчивой, неуклюжей, где герой теряет неизлечимо заболевшую жену и через некоторое время умирает сам.

1

После смерти жены – пил. Пьянством проталкивал дни, недели. По утрам, ощупывая вылезшую щетину, удивлялся её жёсткости. Вяло разводил мыло, брился. Потом снова сдёргивал день, как сдёргивают вместе шторы, до следующего утра, до следующего ощупывания колючего подбородка. Иногда говорил в пивной, отпивая из кружки: «Когда пьёшь – борода сильнее растёт. Раз в пять быстрее, чем у трезвого». Через час-полтора сползал под мраморный столик и висел там, обняв железную корзину прутьев. Селиванов поднимал его с пола, волок домой.

Утром смотрел опять в зеркало на столе. Всклоченный, дикий. Снова разводил мыло в чашке.

Сестра приходила через день. Сразу начинала ругать. Требовала отдать сберкнижку ей. «Пропьёшь ведь все деньги! Дурак!» Водил станком по вздрагивающей заячьей щеке. Сестра грохала дверью.

Когда выходил сам, старухи на лавочке разом надувались. Уводили глаза, боясь задохнуться от возмущения. «Опять весь наглаженный! – оставалось за спиной. – Как ни в чём не бывало! Зато вчера был ни тяти ни мамы».

В сберкассе ручка не слушалась. Плясала. Чёрт! Кое-как заполнил бланк. Единожды глянув, кассирша больше на вкладчика не смотрела. Её ручка – зло дёргалась. Шестиме-

сячная завивка тряслась бубенчиком. Пора, наверное, перекочевать на Советскую. В ту сберкассу. А то вон, лопнет сейчас от злости. С червонцем выходил на улицу.

Стоял. Думал. С большой, как кубок, головой. Солнце жгло. В стекле гастронома переливались стеклянные люди.

2

Лето 74-го года Ивану Чечину запомнилось хорошо. Семнадцатилетним мальчишкой он ездил поступать в Уфу в индустриальный, а потом в первый раз вышел над городом с позывным: «Говорит радиостанция «Светоч»».

В техникуме Ваня уважительно посидел двадцать пять минут перед чистым листом бумаги, на котором в правом верхнем углу был поставлен чернильный штампик «экзамены», и поехал автобусом назад, домой, в Октябрьск.

В то лето горели леса, пересыхали озёра, солнце днём затягивало серым зольным дымом. Листья летящих мимо деревьев с обеих сторон шоссе свисали серые, все в белых пятнах, будто обгаженные птицами. В автобусе был ад. Пассажиры не знали, чем уже на себя махать. Однако Ваня потихоньку посмеивался, поглядывая в окно. Стеснялся сказать девушке-соседке, что рядом с автобусом бежит лось. Танцующей размашистой иноходью. Вот смешно!

Автобус вдруг резко затормозил. Все вскочили, завытягивали шеи. «Что? Что такое? Вон, вон! Лось!» Лось стоял прямо перед раскрытым работающим мотором. Стоял с угрозой, наклонив рога, расставив передние ноги. С губ срывалась пена. От жары, от жажды лось сошёл с ума. Лось был сумасшедшим! Шофер посигналил, пугнул. Животное вяло метнулось с шоссе, пошло ломать белый высохший подле-

сок. Кидая танцующие ноги вперед, убегало в обгаженный лес. Автобус тронулся.

Ваня про девушку рядом забыл. Всю оставшуюся дорогу трудно думал, наклонив большую свою голову с жёлтыми прямыми волосами. «Лось на дороге. Погибающие деревья. Мутный, придавивший всё мир над головой». И только когда открылся вдали печёный закат над чёрными нефтяными качалками, мотающимися перед городом – опять стал потихоньку поглядывать на соседку. У девушки была капризная нижняя губа и вздёрнутые две мётлы светлых волос. Ваня хотел ей сказать что-нибудь завлекательное, но так и не решился. Он не мог знать тогда, что в той поездке рядом с ним сидела, хмурилась его будущая жена.

Геометрически чётко стояли в начале Проспекта две послевоенные сталинские голубятни с маленькими окошками, узорами и шпилями. За ними двумя тяжёлыми шпалерами построились пятиэтажные дома. Ждали генералиссимуса. Ковровая дорожка цветов была раскатана до самого горизонта. Чечин сидел на скамье, вытирал с лица пот, посматривал на цветы, ждал всего лишь Селиванова. Селиванов будто с неба упал: «Говорил ведь, – не звони: Зойка ругается!» Пропустив пару машин, заспешили через дорогу.

Утренняя, ещё пустая пивная за стеклом напоминала мутную подводную лодку в разрезе. Ровно в десять открыли дверь (боковой люк), и с улицы было видно, как по всей подлодке разбегаются тонконогие расторопные подводники. Спешно занимают боевые места. Кто уже с кружками, кто пока без. Чечину и Селиванову достался высокий столик перед стеклом с уличной панорамой. Чуть погода вокруг началась опохмелившаяся, вновь расторможенная болтовня алкашей. Болтовня второго, можно сказать, дыхания. Подсучивая солоделые бледные ручки, алкаши стукались кружками.

Чечин по-прежнему сильно потел, поминутно вытирался платком. Длинные жёлтые волосы его были мокры. «Может, хватит тебе, Иван? Ведь кончишься так». Геннадий Селиванов приложился к кружке. «Уйдёшь вслед за Верой». Смот-

рел на друга. Костюм Чечина был как всегда почищен и отглажен. Правда, из расстёгнутого пиджака с майки смотрел туманный скол революционера в берете, не вяжущийся как-то с выходным костюмом, но это – слабость Чечина. Давнишняя слабость. А, *Альберт Че?* Может, хватит тебе пить?

Когда они вдвоем после десятого класса смастырили первую свою шарманку, Ваня вышел в эфир с непонятными словами: «Говорит Альберт Че!». Так и сказал гордо. Почему Че? Кто такой Альберт Че? Услышав этот непонятный позывной в своей «Спидоле», Генка выскочил из дома и побежал в соседний двор. В сарай к Ваньке. Почему?

– Это революционер такой, – встал и потупился ведущий передачи. С наушниками на голове. – На Кубе живёт. Че Гевара. – Снова присел к торчливым мерцающим лампам и проводам шарманки.

Ах вон оно что! Примазался! Так, может, лучше будет «Ванька Че?» А? Революционер кубинский?

Селиванов глотнул пива. Из сумрака смотрел на свет улицы. Неужели придётся опять тащить? Вот так отпуск у меня в этом году. Вон, соль пытается громоздить на кружку. Руки – ходуном. Ну-ка дай сюда! Сам обсыпал край. На! Снова смотрел на идущих за стеклом людей. Правильно Людмила Петровна говорила про внука – таракан запечный! Двадцать лет не могли женить. После тюрьмы кого только ни приводили к нему. Как к кобельку-импотенту. И всё мордочку воротил. Зато теперь – погибает. Да, жалко Веру. Хорошая была

баба.

Выпив ерша, Чечин стал понемногу в себя приходиться. Большой лоб его разгладился, зачёсанные назад волосы начали подсыхать. Даже заговорил: «О чём думаешь, Гена?» – «Да всё о том же, – как ты на вахту полетишь. Через четыре дня. С такой рожей». – «Я никуда больше не полечу, Гена. – Чечин отпил: – Попрошусь к Зарипову. На текущий ремонт к его балалайкам. Их у него семь штук стоит-качается перед городом».

Селиванов отставил кружку. Чечину осталось три года до пенсии. С выслугой, с северным коэффициентом!

– Ты совсем сдурел, Иван? На двести рублей пойдёшь? После твоих тысяч?

Чечин молчал.

– Да ты же пропадёшь здесь! Сопьёшься в своей квартире! Разве можно тебе сейчас жить в ней! После смерти Веры? Тебе же надо сменить всё! Сидеть на Севере год! Два! Безвылазно!

– Я перееду в бабушкин дом. А сестра в мою двухкомнатную.

Смотри-ка, всё уже решил. Только когда? Ведь пил беспробудно три недели.

Напротив пивной остановилась машина с глухим свинцовым фургоном и красным крестом на нём. От входа по залу уже шли две внимательные фуражки. По мере их приближения алкашей приподнимало возле столиков и опуска-

ло. Как будто от большой волны. Фуражки ушли обратно в дверь. Машина тронулась от пивной дальше. Чтобы прийти в себя, алкоголики разом заперчили мерзавчиками кружки. Мерзавчик Чечина исчез со стола непонятно когда и куда. Костюм Чечина нигде не оттопыривался. Селиванов понемногу отпивал, удивлялся.

В 76-ом из-за упорных шарманок Альберта Че посадили. Сам Селиванов с позывным «Директор кладбища» спасся в армии. (Он был на год старше Чечина.) Уже дембельнувшись, приезжал два раза к другу на свидание. В колонию в Читинской области. Большая остриженная голова Вани походила на туман. Он больше чем обычно задумывался. Бабушка Ваньки, Людмила Петровна, долго сердилась на Селиванова. Проходя мимо, не здоровалась. Селиванов тоже уводил глаза в сторону. Чувствовал себя виноватым. Хотя бывшую учительницу можно было понять: внук её валит лес в Читинской области, а этот... «Директор кладбища» учится уже в институте. В нефтяном! Только когда Иван вернулся, как-то отошла.

– Ну так как, Геннадий? Стоит мне обращаться к Заринову? Ты в одном Управлении с ним сидишь. Может быть, узнаешь – что и как?

Селиванов, казалось, не слышал друга. Облокотясь на столешницу, на истёртый подошвами белый обод поставив ногу, опять смотрел на улицу. Весь джинсовый, тощий и широкоплечий как горец. За пятнадцать лет работы на промыслах

Ваня так и не дорос до ранга бурильщика. Да, видимо, и не хотел. До сегодняшнего дня остался помбуром с 4-ым разрядом на скважинах первой категории. Зарипов правильный мужик, но возьмёт ли сейчас сюда в Октябрьск? Даже на текущий ремонт? Когда своих сокращает? Хотя ещё в Тюменской области у него оба и начинали когда-то. Вся в высоких радугах мимо проехала поливалка. Точно такая же высоко поливала цветник с противоположной стороны улицы. Громогласный Зарипов часто кричал: «Где этот Задумчивый? Куда опять подевался?» Хотя работу Иван всегда делал быстро и чётко. Быстро делал так называемый *рейс*: менял буровое долото и вновь возвращал в скважину. «Молодец, Задумчивый!» – кричал Зарипов и врубал вертлюг. Нередко из хохочущего вечернего вагончика Ваня раздетым выходил на весенний терпкий воздух. Стоял и думал. Как всегда. Запустив в большую свою башку и стелющийся закат, и чёрные, торчащие вкривь-вкось палки весенней лесотундры. Кто создал этот чудный мир вокруг? Бог? Есть ил Он? Видел ли кто Его? «Где Задумчивый? – вспоминал вдруг вездесущий Зарипов. И хохотал: – Наденьте на него шапку, а то застудит свой казан!» Ваню находили, надевали шапку, вели в вагончик.

Селиванов вздохнул, взял кружки, пошёл к буфету. Наливая пиво, буфетчица жевала жвачку. Двигались бесцветные коровьи губы. За спиной её из кассетника еле слышно доносилась гениальная песня:

Осень, в не-бе жгут ко-ра-бли-и,
Мне бы, мне бы прочь от зем-ли-и.
Там, где в мо-оре тонет печ-а-ль,
Осень – тёмная да-а-аль...

В 72-ом году учительница зоологии Чечина Людмила Петровна, уже пенсионерка на то время, решила из школы уйти совсем. Милых деток больше не учить. «Я боюсь пукнуть в классе. На уроке», – сказала она Голдиной Вере Георгиевне, завучу.

Голдина, тоже уже пожилая, нахмурилась. «Я тебя понимаю, Люда». Взяла перьевую ручку, макнула и написала на заявлении: «Согласна. Голдина».

В доме у себя на улице Восточной Людмила Петровна высоко раскинула руки и воскликнула: «Свободна!» И громко пукнула. Благо внук и внучка были в школе. В той самой школе, которую она только что покинула. (Вариант) Несколько смутилась, обернулась даже. Но внук и внучка были в школе. В той самой школе, которую она только что покинула.)

Уже на другой день она привела двух нераздоенных коз. Раздаивала их во дворе, усевшись на бревёшко. От Селивановых всё время выглядывал молодой козёл Коля. С крыши их сарайки. С бородкой как девичье менархе. «Пошёл!» – махала ему Людмила Петровна. Козёл на время исчезал. И вновь появлялся. Третьеклассница Женька и пятиклассник Ваня стояли, застенчиво поматывая портфелями. Впереди себя. Не узнавали бабушку и двор. «Да идите сюда!

Не бойтесь! Они не бодаются!» Связанные вместе, козы, как две сестры, безвольно поталкивали друг дружку, поочередно дёргаемые снизу за сосцы Людмилой Петровной.

«Ну как, нравится козье молоко?» – спросила она у детей в доме. Женька, оторвавшись от кружки, только сладко зажмурилась. С белыми усишками, как кошка. Слов у неё не было. Но Ваня, даже не допив, ушёл к себе в закуток. К своим микросхемам, транзисторам и паяльникам. Чуть погода оттуда потащило канифолью. «Иди на улицу. Таракан запечный! – с досадой говорила бабушка. – Хоть к Генке сходи!» Внук не отвечал.

К самой Чечиной регулярно, раз в месяц, приходил Посачилин. Ветеран войны. С коромысловой ногой и стеклянным глазом. Однако приходил он всегда почему-то только тогда, когда боевой подруги не бывало дома. По норме, как мужским одеколоном, от него попахивало спиртным. Сразу требовал у внуков Люды листок бумаги и ручку.

За столом подробно писал обо всём, что случилось с ним, Посачилиным, за месяц, пока его не было здесь, в этом доме. В конце письма размашистыми росчерками, не отрывая от бумаги ручки, чертил большого голубя с письмишком в клюве, больше похожего на курицу, и расписывался. Всегда одинаково: «Твой Зайка безбашенный!» Сворачивал листок и, свирепо выкатив свой стеклянный глаз, говорил маленькой Женьке: «Надеюсь, между нами. Передашь!» И удёргивал за собой коромысловую ногу.

Вернувшаяся из города Людмила Петровна заходила в смехе. Однако поглядывала потом на хихикающих внука и внучку немного виновато.

Вечером, как всегда, доила коз. Молодой козёл Коля всё выглядывал. (От Селивановых.) Со своей измазанной бородакой. «Бе-е-е-е-е!» – набивался на знакомство. Козы-сёстры на жениха не смотрели. Бойко выстригали сочную траву из рук брата и сестры.

Всегда осенью в отпуск с Севера приезжал сын Николай, отец Женьки и Вани. Приезжал всегда шумно, с подарками, как будто даже с привезёнными с собой гостями, которые орали песни в доме и мычали во дворе дня три.

Детей своих стеснялся, а выпив, слабо узнавал. Потом с разбитной Галькой Лаховой, местной, улетал на Юг, оставив матери и своим детям тысячи две, три. До следующего года.

Людмила Петровна плакала. По ночам покачивалась на стуле, сидя возле спящего внука с такой же большой, как и у Николая, головой.

Мать свою Ваня Чечин совсем не помнил. Ему было чуть больше двух лет, когда она умерла. И осталось от неё только какое-то серое большое пятно, всегда встающее перед глазами, когда пытался представить её. Но он почему-то хорошо запомнил большого дядьку с большой головой. Дядька этот ходил по комнате и громко, как бегемот, рыдал. Это был, как потом рассказала бабушка, отец. А рыдал он сразу после смерти жены Елизаветы. Смерти от родов. После которых

осталась Женька. Живая.

С фотографии со стены на Ваню всё детство смотрела печальная женщина, отрешённо, как во сне, заплетающая косу.

После колонии, когда сын вернулся в Октябрьск, отец позвонил. Велел приехать в Сургут. К тому времени он стал на Севере большим начальником. Воткнул непутёвого сына в местный нефтяной техникум. Жил Иван в общежитии. Видел отца не часто. Запомнились два его дня рождения. А один раз был у него на Первое мая. Новая жена отца имела постоянно обиженное лицо и высокую бобину волос над куцым лбом. Ваня чувствовал её неприязнь. Но малолетние дети отца (опять брат и сестра!) после баловства с Ваней в гостинной всегда висли потом на нём в прихожей. Висели как на березе, долго не отпускали.

Техникум Иван закончил с грехом пополам в 80-ом году. В аэропорту Сургута, прощаясь в буфете, отец трудно сказал сыну: «Будь... сильным, Ваня». И неожиданно заплакал. Зарыдал. Громко, не скрываясь. Точно так же как когда-то по умершей жене.

Чечин смотрел со второго этажа аэровокзала, как тяжёлый грузный мужчина садился в чёрную «Волгу». В засалившейся дубленке, с большой, уже плешивой головой. Больше отца своего Чечин не видел. Тот через полгода умер.

На вечернем красном кладбище чёрная Людмила Петровна на опоздавшего внука падала. Внук осторожно вёл её к ждущим машинам. Жена отца, тоже вся в чёрном, обиженно

бычила голову в сторону.

Опять приходила сестра Евгения. Гнала к Зарипову договариваться заранее о работе. Не ждать трудовую. (Когда её ещё к чёрту пришлют!) Все октябрьские вот-вот хлынут с Севера. Уже идут везде сокращения. Чего сидишь? Бизнесменом хочешь стать? С китайскими плащами-пиджаками до неба?

Чечин не сидел. Чечин стоя чистил картошку. В цветном чистом фартучке. Старался. Как уговаривал в руках недающуюся картофелину.

– Э-э, руки-то трясутся. Чистюля!

Сколько помнила себя Евгения, брат всегда был аккуратистом. Всё у него в каморке за печью было разложено по полочкам. Полочек висело шесть. Школьная форма всегда выглажена и повешена на плечики на стенку. Сам, круглый двоечник, сидит за столом в чистой белой майке и чистых трениках с лампасами. Он даже стирать на себя начал с десяти лет! Бабушка и внучка смотрели друг на дружку растерянно. Как две подруги по полному беспорядку.

Чечин всё не мог справиться с картофелиной. Всё старался.

– Э-э. В Князева, в моего бывшего уже превратился. Когда перестанешь, наконец?

В прихожей, вбивая ноги в туфли, с удивлением спраши-

вала себя: «Сколько можно пить?» Глаза её были бесцветны и вытаращены, как виноград: – «Сколько?!»

Грохнула дверью.

Вышел из подъезда в начале девятого. Однако старухи уже сидели. Такие же непримиримые, сердитые.

Вежливо поздоровавшись, прошёл. «Ишь, начистился, нагладился опять. Правда, сегодня в майке. Пиджак, наверное, заблевал».

На улице ноги трусились, оступались. Низкое солнце впереди растопыривалось, не давало пройти. Перешёл на другую сторону улицы, к чёрным деревьям.

В Управлении Зарипова не было. С облегчением вышел из здания с колоннами. Сидел в сквере напротив, вытирался платком. По улице мимо здания шастали машины.

Когда увидел подъехавшего Зарипова, снова пошёл через дорогу. В вестибюле остановился. Из зеркала в квадратной колонне на него смотрел человек с головой водолаза. Человек тяжело дышал. На майке человека резко проступил весь мокрый Че Гевара. Нет, в таком состоянии к Зарипову идти нельзя. Снова вышел из здания. Селиванову звонить не стал. Хватит его грузить.

В пивной опохмелился один. Через час стоял, прислонившись спиной к торцовой высокой стене пятиэтажного дома на Проспекте, где прямо над ним висели три рекламные девицы с перепутанными, как кустарник, ногами. Заплетя пальцы в замок, опустив голову – опять думал, являя со-

бой мемориальную доску, барельеф, который с выпученными глазами вылез слегка из стенки. Где Вера сейчас? Где её душа? Видит ли она, что я стою сейчас под этими рекламными девками?

Сразу после похорон все вещи Веры из квартиры исчезли. Евгения перетаскала к себе на Восточную. Сказала ему, что разнесёт по соседям. Если не возьмут, нищим раздаст возле собора. А дорогую шубу Веры, что привёз ей из Тюмени – повесит в комиссионке. «Тебе же легче от этого станет».

В первые дни сквозь пьяный туман пытался разглядеть пустоты на месте вещей и одежды жены. В прихожей, в комнате, в спальне. Открывал пустой шкаф Веры, где осталась висеть только одна сломавшаяся деревянная вешалка. Как будто Вера спешно переехала. Точно порвала с ним, Чечиним.

Лежал на тахте, не видя от слёз ковра на стене. «А я вас знаю», – сказала она ему когда-то в доме у Селивановых. На шестидесятилетия тёти Гали, матери Генки. Куда оба они опоздали, где были посажены рядом, ещё трезвые, словно бы даже одни за столом под вскакивающими с рюмками гостями.

Он удивился. Остановил у рта налитую рюмку. «В 74-ом году мы вместе ехали в одном автобусе. Из Уфы. Вспомнили? Лось, выбежавший на дорогу. Стоящий, наклонив рога, прямо перед жарким работающим мотором автобуса. Слово перед всей людской цивилизацией, замучившей его».

Как тонконогую лёгкую мотылька её все время выдёргивали на танцы. Оставшись за столом, он думал в это вре-

мя, пережёвывал какую-то еду. Танцорка снова падала рядом. Выяснилось, что она тоже ездила тогда поступать. Только в пединститут. И в отличие от него – поступила.

В тот вечер он провожал её на Проспект. Стояли на тротуаре напротив тяжёлого сталинского дома, где она жила с матерью. Он держал её руку. Как раздувшиеся коты, светили круглые фонари. У неё было небольшое лицо и прямой носик. Когда она говорила, нижняя губка её оживала и слегка выпячивалась. Этакой маленькой влажной улиткой.

Через полгода в загсе он выронил кольцо. Когда надевал его на палец невесте. Кольцо покатилося по паркету. Прямо к столу распорядительницы, прямо к её ногам. И та почему-то с испугом отступала к стене с гербом РСФСР, а он ползал у её толстых ног, никак не мог схватить это кольцо.

Чечин отделил себя от стены с девицами, перепутавшими ноги, пошёл на противоположную сторону Проспекта. Где дог с чумными глазами и бабочкой на шее словно испуганно высунулся откуда-то на стену дома: «Инвайт. Просто добавь воды».

С кружкой пива в банном гуле пивной – опять думал. Теперь уже о брошенной буровой. О зануде Лмине. О том, что тот может вклеить в трудовую 81-ю – уволен за прогул.

Дома почти каждый день уже брызгался междугородний. Знал, что с Севера, что Лямин, но не вставал, сжимался на диване. Следом, как по заказу, приходил Селиванов. И не увещевал уже – ругал. Потом, сжалившись, доставал две бутылки пива и леща. Этого леща в промаслившейся бумаге смачно шмякал на кухонный стол. Сев, вытирал платком пальцы. Чечин тут же включал свою чистоплотность и аккуратность. Разворачивал, убирал бумагу, вытирал тряпкой стол, клал перед Селивановым махровую чистую салфетку. Леща пододвигал на красивом стеклянном блюде синего цвета. Селиванову хотелось треснуть его по башке. Этим аккуратным лещом и красивым блюдом.

Два дня назад с паспортом пьяного Чечина он искал переехавшее отделение связи, куда пришла трудовая Ивана. Где-то на Гагарина оно теперь, как сказали, в бывшем детском саду. Под номером 15/1.

Бывших детских садов оказалось целых три в длинном дворе, окружённом пятиэтажками. За детской площадкой, прямо по траве он двинулся к одному из них. Крайнему, заваленному деревьями и кустами. Мимо по асфальтовой дорожке, по диагонали пересекающей двор, пьяно, но быстро прошёл длинный парень. Другой, коренастый, оставшийся на дорожке, заорал: «Стой, падла! Стой, тебе говорят! Гон-

до-он!» Неуклюже побежал следом с серьёзным лицом убийцы. Дальше Селиванов видел всё с какими-то разрывами. Как в прерывающемся сне. Когда понял, что здание не то и повернул назад – длинный парень уже лежал, скрючившись у дорожки, а крепкий пинал его. Допинывал. Когда Селиванов снова стал переходить дорожку, к нему, как в новом уже сне, вдруг кинулся этот пинальщик. «Стой, падла!» Стал хватать за рукав. Тощий сильный Селиванов хлестко ударил один раз. Наказал пинальщика. И опять будто разом сдёрнул всё. Как в новой уже части сна, шёл и только озабоченно высматривал чёртово это отделение связи под номером 151, в бывшем детсаду. А парни из брошенного им сна так и остались валяться один вдали от другого. И пьяный, мотающийся дома на стуле аккуратист, даже знать не знал в тот день с какими приключениями Селиванову удалось, наконец, забрать в отделении связи его, аккуратиста, трудовую книжку. Даже не помнил, как Селиванов совал её под нос. Как кричал: «Скажи спасибо Лямину! Слышишь! Не по статье! Алкаш!»

Сейчас наш алкаш уже вставлял в комнате в стерEOSистему кассету. Не может он, видите ли, пить без музыки. По квартире начинали раскатываться солнечные пассажи рояля Оскара Питерсона. Да, не меняется Ваня. Никак не меняется. Так и остался в семидесятых.

Вздыхнув, Селиванов наливал и двигал высокий стакан к меломану.

Ваню тогда долго не могли засечь с «Альбертом Че». Хотя

он выскакивал на большие волны ежедневно. Сам Селиванов – «Директор кладбища» – выходил в эфир осторожно, только два раза в неделю. Вечерами, хихикая, они вместе наблюдали из окон, как мимо проползал уазик с самодельной антенной. Подталкивали друг дружку, совсем заходились от смеха.

Однако когда из Уфы пригнали пеленгатор настоящий, с антеннами плавающими, Ваню вычислили в первый же вечер.

Пеленгатор этот тихой сапой продвигался по Восточной, поворачивал антенны, что тебе глазастый марсианин. Остановился точно напротив дома Чечиных. Подкатил и всегдашний уазик.

Ваня зайцем скакал от двух милиционеров по выпластанному осеннему огороду. Вынесли из сарая всё: магнитофон, телевизор, проигрыватель. Все пластинки Вани, все записи. Когда толстый мильтон, как ботвой, увешенный проводами понёс саму шарманку, Ваня вдруг взвыл, кинулся и ударил в усаые зубы. Милиционер опрокинулся, накрывшись шарманкой и проводами. Ваню тут же сбили с ног, начали пинать. Вялого, затолкали в уазик. Две машины победно поехала по Восточной. Людмила Петровна бежала за машинами, кричала.

Потом был суд. И Ваня, уже восемнадцати лет на то время, сел. И не столько за шарманку, сколько за **избиение милиционера**. Из своего двора Генка видел, как «избитый» пи-

нал потом Ваню, как старался больше всех. В душном зале суда Генка начал было рассказывать об этом, кричать, но его вытащили из ряда и вывели за дверь. Не помогли и фронтовые медальки плачущей Людмилы Петровны.

Сходив к стойке буфета, Чечин вернулся со свежими двумя кружками. Про чекмарь в висящей под столиком сумке забыл. Привычно задумался.

Подошел, встал рядом Подгурский. Шейный платок его был как девиантное поведение. Понятно, берет на голове. Тихо, несколько в нос сообщил: «У меня есть для вас новый Картрайт, Иван Николаевич. Две записи. Сходим ко мне?» Чечин не услышал его. Даже глазами не шевельнул. Ладно, не растерялся Подгурский, подойду потом.

Тот белый санаторий стоял высоко на горе. За морем вечерами угасал закат. Всегда сидели на одной и той же скамейке. Вера клала голову ему на плечо. Далеко внизу ходили пионеры. В свете костра на берегу – тонконогие и зыбкие, как комары. Чечин очнулся, отпил из кружки. Опять застыл. В тот отпуск у него вытащили деньги. Когда уже возвращались домой. Станция называлась «Мелитополь». Стояли пятнадцать минут. Он пил пиво в вокзале. Рядом пил какой-то парень в великом пиджаке с засученными рукавами. Лицо было прикрыто узкой кепкой. Бумажник, про который Чечин просто забыл, лежал в заднем кармане брюк. Хлопнул себя по карману уже в движущемся поезде: «Ловко!» Доехали тогда без денег, но зато с двумя ящичками фруктов и с большой оплетённой бутылью вина, которую Чечин таскал

как ребенка. Вера покатывалась. Селиванов, когда рассказали, оторвал от мотора руки, почесал чистым тылом руки подбородок и сказал Вере: «Ну ладно – он, а ты разве не знаешь, где женщины прячут в дороге деньги? Посмотрите оба ещё раз «Печки-лавочки»». И снова полез под капот москвича. У него самого бумажники и документы всегда торчали наружу. Из нагрудных карманов его джинсовых рубаш, из рабочих комбинезонов и даже выглядывали вроде платочков из пиджаков. Больше на Юг в те годы так и не съездили, как-то не сложилось.

Сзади ходил, просил голос Князева. Бывшего Женькиного мужа. «Морду лица сперва умой, – отгоняли его. – Нефтяник. Как шугнули с буровой, так, наверно, и не умывался». Князев выплыл к Чечину. Почему-то в спецовке, действительно чумазый. «Ваня. Брат! Помнишь маму нашу? Ы-ыхх!» Князев начал было рыдать. Иван подвинул ему кружку. Потом достал из сумки и поставил на столик чекмарь, который так и не открыл. Пошёл на выход. Князев опупел. Чекушку схватил, стал кусать, глодать как кость. Чечин этого уже не видел.

На улице поджидал Подгурский. Сразу подхватил, повёл к себе на Зелёную. Всегда бдительный, оглядывался. «Я знаю о смерти вашей жены. Сочувствую, очень сочувствую». Скрипач по профессии, в музыкальной школе он оглаживал своих учениц, *ставя им руку*. Но явно ни разу не попался. Еще в 60-е годы он начал фарцевать пластинками и записями. И то-

же не попался. Его знали все филофонисты Советского Союза. Сейчас всё стало легальным. Скрываться больше не нужно. Уфа утопала в парусах барахолок. Он мог бы там хорошо развернуться. Но нет. Он продолжал грызть свой сухарик здесь, в заштатном городишке нефтяников. «Обождите, пожалуйста, здесь, Иван Николаевич, – сказал он, остановившись возле калитки кирпичного особняка. – У меня в доме... дама». Открыл ключом калитку и пропал.

Минут через десять появился. Уже без берета. Опять подхватил и повел. Теперь подальше от дома. «Вот, Иван Николаевич, новый Картрайт. С вас только сто рублей. Со скидкой, как сейчас говорят». Получив деньги, отпустил, наконец, подопечного. Смотрел, как по Зелёной уходил человек с большой головой, удерживая сверток под мышкой. Длинные жёлтые волосы человека покачивались крыльями. «Идиот. Кретин. До сих пор, наверное, считает себя музыкантом. Пытался даже когда-то проникнуть в мой детский эстрадный оркестр. Получив по благу саксофон, два дня ходил по Дворцу и издавал гусиные звуки. Шарманка несчастная. Чувырло. Альберт Че».

Лысый, уже домашний, инфант Подгурский взбодрил платок. По-джазовому щёлкая пальцами, пританцовывая, направился к калитке. Поиграл ручкой бобовому лицу в окне.

...В полутьме сарая, как подпольщик, юный Ваня вёл вертикальную тонкую линейку в подсвеченной панели приёмника. Слышался треск, бульканье говорливых городов, барабанная арабская музыка. Всегда внезапно врывались глушилки. И тогда весь приёмник «Союз» словно начинал колотиться в припадке. Чёрт! Ваня быстро сдвигался, увиливал в сторону, в пустоту. Снова осторожно вёл линейку. Фридрих Подгурский никак не продаёт приставку к приёмнику. Чтобы ловить на коротких всё без всяких помех. Сколько ни прошу. Знает, гад, что ничего тогда покупать у него не стану. Генке хорошо. Он гоняет только народное и блатняк. «Мама, я доктора люблю! Мама, я за доктора пойду! Доктор делает аборт, Отправляет на курорты, Вот за это я его люблю!» Ерунда. Полная чушь! Зато достать такие записи просто. А тут с настоящим джазом – и как хочешь. Бабушка ругается, что все деньги Фридриху перетаскал. До отцовских уже добрался. А куда денешься? Не будешь же каждый вечер с одним и тем же выходить. Слушателей потеряешь. «Аудиоторию», как говорит гад Фридрих.

Наконец закончался: «The Voice of America» И гимн их. И сразу по-русски: «Вы слушаете Голос Америки из Вашингтона. Последние известия. В Афганистане советские войска были отбиты народными повстанцами от населённого пунк-

та Кандагар». Это не интересно. Ваня начал шарить рядом с «Голосом». Наконец ворвался биг-бэнд. Наверняка или Дюка Эллингтона, или Каунта Бэйси. Так, всё готово для записи, маг подключен. Ваня начал записывать. Но всё шло плохо, джаз плавал, уходил, проваливался и снова громко выскакивал. Запись получалась непрофессиональной.

«Здравствуйте. Фридрих Евгеньевич дома?» – поздоровавшись, тихо спрашивал Ваня в тесном домишке на другой окраине городка. От стола всегда с изумлением поворачивалась старуха. С белым, как тесто, лицом без бровей. Затем кричала куда-то за ветхие шторы в низкой двери: «Гера! К тебе пришли!» Оттуда сразу выскакивал Подгурский: «А-а, молодой человек! Очень рад, очень рад!» Ваня шёл за ним ещё через две тёмные комнатки с низкими мутными окошками. В студии Подгурского, сплошь завешенной по стенам тряпками, слушал долгоиграющую пластинку, которую хотел купить. Сидел, наклонив голову и взяв рукой руку.

Подгурский, подсвеченный лампой, выписывал за столом из американского буклета новое в свой каталог. Поглядывал. «Нравится, молодой человек?» До конца пластинки будет теперь сидеть-слушать. До самой последней нотки. Сдвинулся на джазе, идиот. Даже Битлов не берёт. Эллингтона, видите ли, ему подавай. Каунта Бэйси. Кретин с большой башкой. В техникум не поступил. Доит вместе с бабкой нефтяника отца. Вот откуда у шалопая деньги. Ведь червонец выложит, глазом не моргнёт. «Вам, Иван, нужно поступать в музучилище. Я вам как музыкант это говорю». Вздрогнул, глаза выпучил. Как водолаз. «Только в музучилище, Иван. С вашим талантом – только туда». Идиот. Кувалда. Теперь всё время

будет думать об этом. Подгурский закончил писать.

У себя в сарае (в студии!) Ваня перегнал всё с пластинки на маг. И уже вечером в эфире над городком плавал его счастливый голос: «Альберт Че предлагает прослушать для начала три композиции Каунта Бэйси. Слушаем!»

Часов в одиннадцать, когда уже высыпали на небе звезды, сладко потягивался во дворе.

Шёл к крыльцу. В голове всё звучал райский бразильский хор. Которым всегда завершал передачу. Райское джазовое песнопение.

В доме прилежная Женька, вода авторучкой в тетрадке, ехидничала. А бабушка ругалась. Обзывала запечным тараканом. Грозилась разгромить всю студию. То есть, надо понимать, свой сарай.

После пивной Чечин опять лежал дома, уставившись в потолок. Почему ты стираешь, спрашивала Вера, придя с работы из школы и видя, как он с пустым тазом в очередной раз лезет с балкона в комнату. А? А потом с любовью наглаживаешь? Я-то для чего в доме! Иван! Как объяснить было женщине, что это болезнь. Что даже на вахтах не мог он носить грязных спецовок более суток. Не говоря уже о грязных майках, рубашках, носках и трусах. «Где Задумчивый?» – спохватывался Зарипов. – «Стирает, Анвар Ахметович», – серьёзно отвечали ему. Зарипов выбегал из бытовки. «Задумчивый» с засученными рукавами, как распоследняя баба, обречённо вешал бельё на кусты. Как будто все свои жизненные провинности. «А?» – поворачивался к бригаде Зарипов.

Не раз на сеансах в кино она останавливала его в последний момент: «Куда?» И он в полоскающемся свете лез по ногам зрителей обратно с её стаканчиком от мороженого. Он держал стаканчик до конца сеанса в руке, изредка отирая и его, и пальцы платком. Который необходимо будет сразу же постирать дома.

«Ваня, мне стыдно перед тобой. Я такая неряха», – смущённо говорила она. «Ну что ты», – уводил он взгляд в сторону... Он работал мокрыми тряпками на столе и окнах как

Бенни Хилл! Остановить его было невозможно!

Нередко вечерами, забыв про включённый телевизор, он потихоньку следил за ней. За ней, работающей в углу за столиком с лампой. Она проверяла ученические тетрадки, заполняла журналы, писала свои рабочие планы. Иногда, вспомнив о нём, поворачивалась от лампы. Распушенные волосы её, казалось, цвели. Волосы были как рай. Он сразу же смотрел на экран. Где за трибуной торопился, говорил человек с изогнутой шеей лебеда, и радостное большинство старалось, захлопывало его. Она подсаживалась к нему на подлокотник кресла, ласкалась. А он только растерянно улыбался. Как первоклаш, которого гладит по голове незнакомая тётя.

После нечастой близости, близости в полной тьме, он очень медленно поднимался над ней. Весь железный. Точно совершил преступление. «Ваня, почему ты такой стеснительный?» Он лежал и удерживал рвущееся дыхание. Из-за дыхания он не мог ответить на этот вопрос женщине. В первые год-два она ни разу не видела его голым. Например, в ванной. Он всегда был в свежей рубашке и трениках с лампасами. Она, торопясь в школу, нередко летала по квартире в одних трусиках. Его в это время в комнате словно не было. С зажмуренными глазами он висел где-то под потолком. Он отскакивал от неё и уходил в стену.

Чечин вздрогнул – задрезбезджал в прихожей телефон. Звонил Селиванов: «Ты куда пропал?» Чечин ответил: ходил к

Зарипову. «Да не был ты у него! Ты же полчаса придурком простоял в вестибюле у зеркала! Тебя же видели! Ты что делаешь, Иван? Я же договорился с Зариповым, он тебя ждёт. А ты?» Чечин сказал, что к Загурскому пришлось зайти. На Зелёную. Нужно было. «Опомнись, Иван! Какой Загурский? Какая Зелёная? Нам с Женькой что – под руки тебя вести?» Чечин положил трубку. Сразу зазвонило в спину. Снял трубку. «Я сейчас приеду, не вздумай смыться». В ухо застукали гудки.

Вернувшись в комнату, Чечин в растерянности поворачивался. Словно это была уже не его комната. Словно его сейчас из неё выведут.

Смотрел на белую рамку на стене, оставшуюся от портрета жены.

Присел на тахту. В груди стало тесно, нехорошо, наворачивались слёзы.

Селиванов решил заехать за Евгенией. По редакции шёл как по голубятне с выскакивающими отовсюду бумажными голубями. Покусывая авторучку, Женя голубкой сидела в своем закутке. Словно бы уже на кладке. «Вставай! Поехали!»

В машине молчали. Вверху пролетали перепутавшиеся ветви деревьев. Когда он приносил к ней свои статейки о «добыче нефти в Башкирии», она, сняв очки, всегда с досадой говорила: «Ну зачем ты так пишешь, Гена?! Ведь разобрать твой почерк невозможно! Глаза сломаешь!» На что корреспондент отвечал: кто буквы выводит, каллиграфирствует, тот ничего путного не напишет. В почерке должно быть движение, полёт. Вдохновенный полёт. В свою очередь, заходя к ней на Восточную и видя её постоянно склоненной над книгой, над одной и той же как будто книгой, – толстенной, неподъемной, – он тоже с досадой восклицал: «Зачем так много читаешь, Женя? Глаза ведь посадишь совсем!» Она устало снимала очки с большими диоптриями. Говорила своими или чьими-то словами: «Мы читаем, Гена, чтобы знать, что мы не одиноки». И тогда сразу возникал в комнате дух гада Князева, сломавшего бабе жизнь. А во плоти – мгновенно трезвеющего и удирающего каждый раз от Селиванова. Как от чёрта.

Поднявшись по лестнице, в дверь позвонили требовательно, продолжительно. Как милиция. В ответ ни звука. Евгения поспешно начала рыться, искать в сумке ключи. В прихожей крикнула, снимая обувь: «Иван!» Из притемнённой жёлтой комнаты скакнула тишина. Мгновенно подумали об одном и том же. Ринулись в ванну, в кухню, потом в спальню.

Пусто! С облегчением вернулись в комнату. На диване аккуратно были сложены треники с лампасами. Кожаные домашние тапки стояли как солдаты на плацу. Пятки вместе, носки врозь. Просто смылся аккуратист! Ну погоди, приходил в себя Селиванов.

Посидели в кухне, попили чаю. Время обеденное. Всё у аккуратиста было на месте. И плетёнка с печеньем. И заварной чайничек. Притом с надетой стёганой курочкой с красным хохолком. И сахарница на чистой салфеточке. «Ведь ни за что не скажешь, что месяц уже пьёт», – оглядывался по кафельной вылизанной кухне Селиванов.

Поехали назад, в редакцию. «Как у тебя с Зоей?» – спросила Евгения. «Нормально». Евгения покосилась на смуглое, словно бы кавказское лицо с седоватыми уже волосами на голове. Хорошо хоть сегодня не поцарапанный. Пролетел Дворец культуры с кучерявыми колоннами. Евгения опять смотрела на широкоплечего тощего горца в джинсовке, в которого девчонкой была тайно влюблена. «Почему не присылаете Анечку ко мне? Ей витамины нужны. А у меня земляника

пошла». – «Пришлём».

Селиванов женился поздно. И не из-за застенчивости, как Иван, а как раз наоборот. Почти до тридцати пяти он раз-машисто, зло пилил кривыми длинными ногами в твисте в зале вот этого как раз Дворца, мимо которого только что проехали. Кого из девчонок он только не переводил к себе в сарай на Восточной! С кем он только не барабанил по ночам в чечинский сарай голыми пятками! Сколько девичьих слёз было пролито под окнами Селивановых! Куда он только не убегал от мстительных невест, где только не прятался! Прекратила весь декамерон Зойка. Татарка Зойка. Через три дня после свадьбы в 85-ом году она пришла к Селиванову в Управление и ударила чернильным прибором секретаршу Дадонову. А потом остатком прибора самого Генку, выско-чившего из кабинета. И Селиванов на время притих. Тем бо-лее что через два месяца родилась у них Анечка, ангельский ребёнок с кудрявыми, как у отца, волосами.

– Гена, ты сильно не дави на Ивана, – сказала Евгения, когда остановились. – Я сама постараюсь с ним вечером по-говорить. Вроде протрезвел уже.

Она пошла к крыльцу. Селиванов смотрел на её косенькие белые ножки, торопливо переставляющиеся по ступеням. На её, как ядро, круглую голову с жёлтыми, как и у брата, во-лосами.

Отвернулся. Поехал.

Сбежавший Чечин между тем сидел в сквере неподалёку. Продолжал похмельно потеть, вытирался платком, в пивную на Проспект не шёл, держался, твердо сказав себе: всё, баста.

Напротив через аллею сидели три старика в тубетейках. Бабаи были краснощёки, на вид ещё крепки, но уже все трое с серьёзными клюшками. «Они любят прикидываться бабаями, – сказал однажды про таких лже-стариков Зарипов, сам татарин. (Дело было возле мечети, куда из автобуса дружно выгружались вот такие же с клюшками.) – Им выгодно это. Дети любят больше. Внуки. Это у вас, русских, стариков едят поедом. Особенно невестки какие-нибудь. У нас – нет. Пожилых всегда слушают, почитают. Вот они с клюшками и сидят потом на лавочках. Все в мягких сапогах с татарскими галошами. Прикидываются. Раньше времени».

Чечину вспомнилась смерть бабушки Людмилы Петровны. В 84-ом году.

В тот день они вдвоём пололи огород. Женька была в своей редакции. Людмила Петровна вдруг встала с сидушки, резко качнулась и упала в морковную ботву лицом вниз. Иван кинулся, перевернул грузное тело на спину, пытался что-то делать, хлопал по щекам, разводил ей руки. Но лицо под жёваной панамкой уже серело, на глазах становилось худым. Не слыша себя совсем, он что-то кричал потом, заки-

дывал голову, махал руками. А от Селивановых уже бежали люди.

Женькин Князев, более или менее ещё трезвый в то время, на поминках вдруг радостно выдохнул: «Хорошо умерла бабка. В одночасье». И поворачивался ко всем с рюмкой. Как бы приглашал выпить за это. Евгения тихо сказала ему тогда: «Отзовутся тебе твои слова».

Видя вытирающего глаза Ивана, бабаи покачивали бородами. Белыми, как помазки. Ай, ай.

Людмила Петровна не хотела, чтобы внук работал на Севере. Даже когда тот стал летать с вахтами и через месяц возвращаться домой. По ночам, представляя, как чистоплотный зануда живёт месяцами в общагах среди весёлой пьяной грязной нефтяной братии – плакала. Когда Иван возвращался, внушала, настаивала даже, чтобы он перевёлся в Октябрьск, работал дома. Работа же и здесь есть. Без всяких вахт. Показывала на зятя Князева как на экспонат: вот же, работает в Ишимбайнефти, два часа на машине до промысла. (Князев за чайным столом солидно надувался.)

Ивану и самому уже всё надоело. И, поколебавшись какое-то время, он перешёл в Ишимбайнефть, перестав летать. (В доме считалось, что это Князев посодействовал.) Однако после 86-го года разведки в Башкирии почти не стало. И снова октябрьские гуси нефтяные перелётные начали сбиваться в вахты и улетать на Север. И опять был у Ивана ежемесячный вахтовый ИЛ-26 с салоном, круто лезущим в небо,

и расстелившиеся потом под самолетом облака, как торосистые льды Ледовитого океана. Людмила Петровна этого уже не увидела. А глупый Князев, несмотря на плач Женьки в суде, отправился в то время по первой своей ходке в ЛТП.

Бабаи, словно дослушав воспоминание Ивана до конца, поднялись, пошли. Серьёзно, жёстко опирались на клюшки. Как бабаи настоящие. Без дураков. Чечин тоже двинулся в сторону дома. Двухкомнатную на Ворошилова его заставила купить всё та же Людмила Петровна. «Может быть, женишься в конце концов, если будешь жить отдельно. Всё равно ведь деньги проматываешь зря». Иван послушно вступил в кооператив, а через полгода заехал на четвёртый этаж дома номер 4, в самом начале улицы Ворошилова.

Года два квартира напоминала сарай. Пустой почти, но чистый. Посередине большой комнаты стоял стол и стул. В спальне один только старый диван, перевезённый с Восточной. (Не на полу же спать.) Ни тумбочек, ни ковров, ни зеркал. На всех стенах – бело, чисто. Словом, всё было в эти два года по-холостяцки, по минимуму. Немногим лучше выглядели кухня и прихожая. В прихожей на длинной вешалке висела вся одежда Чечина – и зимняя, и летняя. Внизу ровно стояла обувь. Тоже на все сезоны. В кухне, конечно, кастрюльки, сковородки, стаканы, тарелки. Но уж без этого – никак!

После северных вахт, наскоро обняв дома жён и детей, родная бригада приходила в чечинскую квартиру с бутылка-

ми, со свёртками продуктов, с Зариповым во главе. Давно не виделись. Полдня прошло. Два дня в квартире стоял дым ко-ромыслом: пили, орали песни, плясали с девками под Вань-кин джаз из магнитофона. Потом уходили, оставив на столе в комнате полный разгром. Валялись всюду бутылки, пол был истоптан сапожищами, усыпан окурками, какими-то рваны-ми тряпками, бумагой. Протрезвевший Чечин собирал всё, сталкивал в ведро, выносил на помойку. Ползал, чистил в углах, скрёб, с порошком отмывал засохшие винные лужи.

Пока бригада месяц была на Севере, квартира словно от-дыхала: стояла чистой, тихой, чуть-чуть только набирая с улицы пыли, которую иногда вытирала, приходя со вторым ключом, сестра Женька.

Наконец бригада прилетала домой, – и в квартиру опять шли бутылки, девки, громогласный Зарипов. И начинался всегдашний гудёж. Пьяный Чечин с тряпкой уже не успевал, падал в спальне, всегда в одном и том же месте, возле бата-реи, не мешая дивану рядом крикать уткой.

И так шло все два года. Но когда у Ивана появилась Ве-ра, справедливый Зарипов сказал: «Всё, ребята, баста, пора и честь знать». Стал увозить бригаду на дачу. К себе. Когда оттуда погнали – на охоту осеннюю. Или на рыбалку зим-нюю, подлёдную.

Чечин принялся рьяно обставлять квартиру. Вместе с грузчиками кажилился с мебелью. Диван выкинул, поставил тахту. Две тумбочки. Створчатое зеркало для Веры. Повесил

ковер. Крохотный «Морозко» в кухне заменил на высоченный «ЗИЛ». Вера от матери с Проспекта перевезла свою библиотеку – поставил ей в комнате длинный книжный шкаф под стеклом. Деньги были. Зарабатывал в то время хорошо.

Тогда же чаще стала приходиться сестра Евгения. Со своей снохой сразу же сошлась. Они были одного племени. Одной крови. Интеллектуальной. Одна закончила пединститут в Уфе, другая заочно журфак МГУ. На кухне они говорили только о литературе. О прочитанных книгах. (Какие ещё женские тряпки! Какая кулинария!) Обсуждали новинки в журналах. Восхищались какой-нибудь повестью или романом. Или спорили о них же до хрипоты. Чечин в фартучке только мешался. Ему не находилось места. Но успевал подлить им чаю или подстелить под блюдечко салфеточку.

Потом они принялись образовывать его самого, работягу-нефтяника. Постоянно поправляли неправильные его ударения в словах. Долго хохотали над его *полувером*. Как будто Женька сама в детстве так не говорила. Дальше вовсе – начали подсовывать книги. И всё больше толстые, неподъёмные. Чечин терпел. Честно тужил мозги. Вообще-то, мозги.

Иван свернул на Ворошилова. На стене возник испуганный пенсионер. Как офтальмолог с толстенными глазами: «МММ – куплю жене сапоги!» Генке Селиванову хорошо было. Он даже Историю КПСС в нефтяном изучал. Перед интеллектуалками на кухне не терялся. Приходя, шпарил как пописанному. На любую тему. Не только на литературную.

Правда, один раз тоже сказал неосторожно – **средства**. И с пьедестала разом слетел. Зато на днях рождения никто лучше его не мог спеть, затачивая на гитаре. А потом со своей тощей Валькой злей всех заделать твист. Или шейк. Или даже буги-вуги.

Дома из включённой стереосистемы, как с далекого континента, еле слышно доносился блюзовый саксофон Энди Картрайта. Иван сидел в кресле, невольно опять смотрел на пустой белый квадрат на стене. Когда поженились, Вера, видимо, хотела забеременеть сразу. Потому что в первой год их семейной жизни Иван ни разу не услышал от неё, что нужно ему предохраняться. Аптечным мужским средством. Однако позже она как-то странно стала смотреть на него по утрам за чаем. Не в лицо, а куда-то ниже. В район груди. Так смотрит врач, выискивая фонендоскопом у пациента болезнь. «Что с тобой?» – «Ничего». Однажды она сказала ему, что ходила к врачу и всё у неё в порядке. Он не понял. «Тебе нужно провериться». Он опять посмотрел на неё удивлённо. А когда она разъяснила ему на пальцах – нахмурился и сказал: «Я здоров». – «Откуда ты знаешь!?» – сразу закричала она.

Она была постоянно в школе. Она вела русский язык и литературу в нескольких классах. Она была завалена нагрузками с головой. Руководила даже школьным драмкружком. Поэтому в работе как-то всё забывалось. Но иногда по вечерам, придя из школы уставшей, она всё так же подолгу смотрела на него. Точно не понимая, кто этот странный человек

с большой головой и волосами как мочало. И вообще, как она попала сюда, в эту квартиру. Ему становилось не по себе. Ползал, прятал глаза, одевая ей тапки.

Она забеременела через два года. После их поездки на Юг. Когда у него украли деньги на станции Мелитополь. С пяти-месячной беременностью, моясь, она поскользнулась в ванной и сильно ударилась о дно её. Он услышал вскрик, кинулся, распахнул дверь. Под хлещущим душем она ворочалась в ванной, хваталась за края, пытаясь встать. Он подхватил её, вынес в комнату, положил на тахту. Пока звонил, вызывал скорую, Вера корчилась, хваталась за поясницу, громко охала, уже мажа простыню кровью.

Бесчувственный, как автомат, быстро одевал её. На улице была зима, ночь. Он сушил её волосы полотенцем. Распахнув дверь, встречал врачей. В белых халатах и чёрных куртках они лезли по лестнице со своими баулами, похожие на мясников с рынка. Вместе с медсестрой осторожно сводил жену вниз. Он не мог вспомнить в машине, надел ли на неё тёплое трико. В приёмном покое, когда раздевал, увидел, что нет. Потом он шёл ночной улицей и от слёз не видел фонарей. Он нёс её одежду, завернутую в её пальто, как убийца добычу.

Из стереосистемы вдруг ударили буги-вуги. Жаркий бугешник Картрайта. Чечин вскочил, выключил всё.

Пошёл на кухню. Достал из холодильника и выложил на тарелку мёрзлый кусок мяса. Смотрел на противоположную сторону улицы, где знойный налетающий ветер клонил, рас-

качивал деревья.

Иван корил себя потом, что не дождался её выписки, улетев со всеми на вахту. Не смог сказать Зарипову, чтобы тот отпустил его без содержания. Хотя бы на неделю. Когда вернулся через месяц – Веры в квартире не было. Помчался на Проспект. В сталинской квартире с высоченными потолками он увидел сильно исхудавшую жену. В каком-то выцветшем халатике она встала из-за стола, сронив на пол ученическую тетрадь. Припала к нему. Он гладил её, успокаивал. Тёща из кухни смотрела на него как на изверга.

За время, что был дома, почти не уходил с кухни. Ещё со студенческих лет у Веры был испорчен желудок. Поэтому пока она была в школе, готовил только диетическое, но разнообразное. От Селиванова даже принёс книгу о вкусной и здоровой пище. Была зима, январь, но Женька нашла где-то у себя на Восточной дойную козу, стала покупать и каждый день заносить пол-литровую банку. Словом, дело пошло. У Веры округлились щёки, вновь появился румянец. Однако по ночам, таращась в комнате на меняющуюся от машин темноту, он часто слышал её тихий плач в спальне. У него сжималось сердце. Он заходил в спальню и молчком стоял в темноте. Он хотел сказать ей, что тоже ждал этого ребенка. Очень ждал. Но из-за застенчивости своей он не мог произнести этих слов.

Вечером Евгения увидела брата печальным, но трезвым. Слава богу, кажется, взялся за ум. Сняв туфли, сразу прошла в комнату к библиотеке Веры. Точно пришла только для этого. Стала рыться в книгах, искать что-нибудь себе домой. Брат резал овощи на кухне. Для борща или щей. Хотя резал – не то слово. Он их рубил на большой доске. Прерывающимися пулемётными очередями. Пулемётным дроботком. Как заправский повар из ресторана. Невольно вспомнилось, как они с Верой нередко смотрели на это действие Ивана. Смотрели, как из-под ножа летит репчатый лук или капуста. А виртуоз подмигивал им, двум неумехам. Евгения сходила в прихожую, вынула из сумки портрет Веры. В комнате, встав на стул, закрыла им белый квадрат на стене. Вернула на место. Отступала от стены, смотрела. На фотографии глаза у Веры были задумчивые, сквозные, цвета сильно растворённого кофе.

Иван, казалось, даже не взглянул на вернувшийся портрет жены. Стоял, вытирал руки полотенцем. Сказал:

– Женя, я всё обдумал. Ты будешь жить здесь, а я перееду к тебе на Восточную. – И снова ушёл на кухню.

Евгения кинулась следом.

– Ну что ты надумал, Иван? Зачем?

Но брат стоял на своем. Так будет лучше. И для тебя тоже.

Работа твоя будет рядом.

Они долго спорили в тот вечер. Уже в одиннадцатом часу они закрыли входную дверь на ключ и стали спускаться вниз с одеждой и постелью Ивана. Они уходили от тёмных трёх окон на четвёртом этаже как вор и воровка, с узлами.

После душа Селиванов сидел на диване и смотрел телевизор. Покачивалась с колена его тощая, как сандаловая ветвь, нога. Показывали юбилей старейшей актрисы. Она будто идол сидела в кресле на сцене. Наплывы на щеках её, на подбородке напоминали уже белые чаги, какие бывают у облезших старых берез. К юбилярше гуськом шли с цветами подобострастные актёры из молодых. Шептали ей что-то игривое на ушко, целовали ручку и обкладывали её цветами как монумент, как памятник, с которого только что сдёрнули покрывало. Большой притемнённый зал театра был полон. Ближе к первым рядам сидели тоже заслуженные, очень известные актёры. Её коллеги. Вяло хлопали. В полутьме все с грузными искажёнными лицами стариков. Было тяжело на всё это смотреть. Ведь придётся уносить её со сцены. Прямо в кресле. Или, быть может, покатит со сценой, с цветами, помахивая залу ручкой?

По комнате быстро ходила жена. Собирала или, наоборот, разбрасывала свои тряпки. Не поймешь. Бигуди на голове походили на выпас баранов. И это было тоже неприятно. Селиванов уводил взгляд в сторону.

Вдруг остановилась за спиной. По своему обыкновению молча, тяжело. То ли тоже смотрела на экран, то ли хотела треснуть по башке.

– Иди лучше посмотри, как дочь рисует. Чем мутоту всякую смотреть.

Длинный легкий халат опять летал по комнате.

Дочка сидела у расставленного складного мольберта. С кисточкой в правой руке. Селиванов подошёл, наклонился, смотрел вместе с нею на рисунок. Анечка прополоскала кисточку в стеклянной банке, взяла на кисточку краски и вывела левую бровь клоуна в шахматном колпаке. Отстранилась, разглядывая результат.

Селиванов начал водить дочь в изостудию при Дворце с семи лет. Вся комната её за три года была уже увешана картинами и картинками. На детской выставке в Уфе даже получила вторую премию. Отец снова наклонился и поцеловал голову дочери между тугими жгутами косичек.

– Ну папа, мешаешь!

Ночью не спал. Зато жена на второй кровати лежала как всегда – мёртво. Не слышно было даже дыхания. Однако перекидывалась на другой бок резко, брыкливо. Соответствуя своему характеру полностью. Бигуди шуршали-щелкали. Куда уходит всё? О любви не будем говорить – уважение? Прожили десять лет, а ничего, кроме позора, не видел. Сколько раз приходил на работу исцарапанный. Гоняла и гоняет до сих пор всех подряд. И друзей, и даже просто знакомых мне женщин. Одни только Чечины и остались. Ванька и Женька. Которым почему-то верит. Зарипова даже огрела однажды ведром. Анвара! После нашей охоты осенней. Где якобы бы-

ли и женщины. Одна всего только и была. Шадыкина из планового. Долго преследовала её. Не давала пройти ей по улице. На работе, при встречах та уже отбивалась от меня. Как от чёрного кота. А я ведь всегда только хотел поддержать её, посочувствовать. Позор. Не ходил даже на послевахтовские сабантуи у Чечина. Не ходил. Ни разу. И – что? Ревнует Зойка. По-прежнему. И с каждым годом больше и больше. Сказал даже ей один раз: сходи, полечись. Серьезно сказал. В ответ – исцарапала всего. Да-а. Один свет в окошке – Анечка. Чудо ребенок. Ладно, хоть дочь свою любит, мегера. Не это – дня бы не жил.

Селиванов поднялся, тихо пошёл тёмной квартирой на лоджию. Облокотясь на железную прохладную полосу, покурил и смотрел на спящий город. Дневной ветер не стих, гонял воронками зелень возле одиноких фонарей. Будто из разных кварталов всё время наносило молодежный гитарный скабрёзный хор, в песне которого через слово шёл мат:

Будем пить-наслаждаться,
Веселиться и е...!

И так – далее. Да-а. Современная молодежь. Мы в молодости не такие песни пели. Мата в них не было. К примеру, я, Директор кладбища, над городом гонял такую песню:

А Ваня Ржавый сел на буфер,

А были страшные толчки.
Оборвался под колёсья –
Разодрало на куски.
А мы его похоронили.
А прямо тут же, по частям,
А потом заколесили
Вдоль по шпалам, по путям.

И ни одного матерного слова. Только мысль. А Ваня и во-
все. «Альберт Че». Можно сказать, аристократ. У него толь-
ко проверенный джаз над городом. Элла Фицджеральд, Эл-
лингтон. Да-а. Но это было когда-то. Запечный таракан уже
не играет на шарманке. Что делать с ним теперь? После смер-
ти его жены? Ведь на глазах превращается в алкаша, в исте-
ричку, готовую мгновенно заплакать. Жалко, конечно, Веру,
жалко. Кто говорит! Но что это за любовь такая, чтобы по-
гибать потом из-за неё?

Селиванов смутно чувствовал, что чего-то в нём самом не
хватает, чем-то он, Селиванов, в жизни обделён. У него все-
гда было много друзей. Зойка не зря долбила его и царапала.
А вот одной-единственной, как у Ивана, не было никогда.
Даже на Зойке своей он женился из трусости, на беременной.

И ещё. У Чечина всегда была мечта. Он хотел стать му-
зыкантом. А подобной мечты, пусть и неосуществимой, ни-
когда у Селиванова не было. Вместо мечты была цель. Как
у всех. Он окончил институт, получил высшее образование,

много читал, многому учился. Выбился в начальники. Сидит не один год в Управлении. Но мечты, какая была у Вани, никогда не было.

Селиванов выкурил ещё одну. Затушил бычок в железной банке. Подошёл к комнате дочери, послушал её сладкие по-сопки.

Опять не спал. Бигуди рядом перекидывались улетающей шуршащей стаей. Но не мешали почему-то. И вот уже видит Селиванов, как со смехом и шутками, вся в первой нефти, бригада идёт от хлещущей буровой к бытовке. Подтрунивает над чистюлей Чечиным. Которого вымазали нефтью больше всех. Несёт над тундрой осенние низкие облака. Жёлтые сухие деревца принимаются дружно вычёсывать блох. Вахтовый пёс Зараза рьяно перекатывает себя на траве. Для вертолёта накликает погоду.

Селиванов снова поднялся, взял в гостиной телефон с длинным шнуром и ушёл с ним в ванную.

Чечин не отвечал. Неужели опять напился? Селиванов застыл с тукающей пустой трубкой в руке.

Ответить этой ночью Селиванову Чечин не мог – телефона у Евгении на Восточной не было. Иван тоже не спал, лежал в своем закутке за печью. Печь-голландка уцелела. Хотя в доме давно было центральное отопление. И уцелела она только из-за лени Женьки. Стояла сейчас блестящим от кузбаслака раритетом, который, как только сестра ушла к себе, Чечин быстренько протёр влажной тряпкой. И со стороны комнаты, с парадной части, и у себя в закутке, где торчала вверху выюшка. Он направлял сейчас луч фонарика на полукруглый выступ печи, любовался её чёрными переливами. На душе было легко, он вернулся домой, в свой родной закуток. Даже полки были целы. Все шесть штук висели на своих местах. Правда, пустые пока. Чечин провёл и по ним лучиком.

На кровати матрас лежал на трёх широких дубовых досках, но было приятно ощущать забытую жёсткость его. Здесь спал ещё отец, а потом и сам Чечин. Что-то однако мешало сейчас. Вроде откуда-то чем-то подванивало. Чечин вдруг вспомнил: сюда же Евгения ссылала Князева, когда тот пил. «На Сахалин» – как говорил тот сам по утрам. Сидя на этой кровати с включенной репой.

Чечин вскочил, сдёрнул простыни. Точно – от матраса несло застарелой пьянкой. Закончервириванной, точнее ска-

зять. А ведь пять лет прошло, как сестра с Князевым разошлась. И как ей теперь сказать, чтобы не обидеть? Чечин свернул матрас, засунул в ноги за спинку кровати. Расстелил простыни на голые доски. Лёг. И стало еще лучше, чем было, честное слово.

Из дальней комнаты Евгения видела ползающий свет. Бедняга, никак не верит, что домой наконец-то вернулся, всё проверяет в темноте, светит по стенам.

Когда Вера заболела, заболела, как показалось, внезапно, о страшном диагнозе её сказали почему-то только ей, Евгении. Иван ни о чем даже не подозревал сначала: ну гастрит и гастрит. Желудок у жены испорчен еще со студенческих лет. Дело обычное. Вон, восемь женщин в палате лежат, и все с гастритами да язвами.

Несколько дней Чечина была как помешанная. Когда приходила в больницу и видела приветливые лица брата и снохи, поворачивающиеся к ней, Чечиной, – хотелось завывать в голос. Но с дубовым лицом подходила к кровати больной, где она сидела с мужем рядом, выкладывала на тумбочку принесённую еду и фрукты. «Что с тобой?» – удивлялась Вера, посвежевшая даже, полная оптимизма. «Не обращай внимания, – всё хмурилась Чечина, выкладывая свертки. – На работе. Молодов как всегда достал». Тоже присаживалась на край кровати. С пустыми глазами спрашивала о самочувствии. Потом целовала Веру в прохладную щеку и уходила. Тем более что брат оставался. На улице шла, оступалась, за-

драв голову к небу. Утреннее низкое небо было – как приговор. Как мартовский гололед на чёрной дороге. Представив, что будет чувствовать Вера, когда поймёт, что обречена – начинала горько плакать. Прохожие оборачивались. На крыльце редакции рослый Молодов, приобняв её как малолетку, вёл наверх. И, открыв ей дверь, таким же манером вёл дальше. До её закутка.

Операцию делать не стали. Был поражён весь желудок, метастазы были уже в печени. Просто зашили.

Фанарик в закутке погас. Евгения всё лежала с раскрытыми глазами. Если в первые дни, узнав о диагнозе, по ночам она сама корчилась от жалости и ужаса, то через месяц, когда больная уже умирала, Чечину словно подменили: она отупела. Так же, как и её брат. Они оба не работали – Иван не полетел с вахтой на Север, Евгения сидела в редакции сомнамбулой в очках. При первой возможности смывалась в больницу. Главред Молодов сначала сочувствовал, потом стал без всяких ругать.

Она вдруг избила Князева. Который в очередной раз доверчиво пришёл кланчить деньги. Она гонялась за ним по двору с палкой, дубасила по чему ни попадя. Она не помнила потом об этом.

В изоляторе, где больная уже не вставала, по утрам обтирали потное тело тёплой водой. Вера согбенно сидела в постели как старая чёрная прялка с обдёрганной куделей – волос на голове от облучений почти не стало. Брат и сест-

ра всё делали как автоматы: меняли простыни, вытаскивали судно, пытались кормить, бежали за медсестрой, когда больную сворачивала в постели боль. Пожилая мать Веры, бомбой сидящая на стуле, сама не делала ничего, но почему-то всегда с обидой смотрела на брата и сестру, суесящихся вокруг больной. Точно те ей много задолжали. Она всю жизнь проработала бухгалтером и знала счёт деньгам. Когда брат и сестра останавливали заботу и замирали, начинала обстоятельно рассказывать дочери о соседях и о своем коте Черномырдине. («Представляешь, свежую рыбу перестал жрать. Сардины в масле ему теперь подавай!») Она не понимала, она не хотела понимать, что дочь умирает. Только уже на кладбище она словно пряталась в брата и сестру, обняв их, непереносимо плача.

Утром Иван был почему-то бледен и сильно потел. Похмелье, наверное, всё ещё выходит. Евгения подкладывала ему яичницы с колбасой, наливала чаю. Не ушла на работу, пока не добилась твердого обещания, что он пойдёт сегодня к Зарипову.

Оставшись один, в маленькой ванной Иван зажёл газовую колонку. Помылся. Потом погладил костюм. Майку с Че Геварой отложил, надел белую рубашку. Почистил туфли. Ощущал легонькую дрожь внутри. Чистое тело по-прежнему обдавало потом.

Положил в карман пиджака паспорт. Ещё раз перелистал трудовую, словно чтобы лишний раз убедиться, что всё в ней в порядке, что Лямин не нагадил на прощанье. Нет – «По собственному желанию». И печать приляпкана от души. Что тебе подсолнух чернильный. Спасибо, Георгий Иванович. Не плохим ты мужиком оказался.

Шёл по Космической в Управление. В голове уже зудел бас Зарипова. Бас самодовольного, всё знающего мастодонта. Вспоминался почему-то Зарипов-охотник. Зарипов-рыбак.

Из Октябрьска на осеннюю всегда выезжали целой кавалькадой. Машин в семь, в восемь. Впереди, конечно, на

внедорожнике Зарипов. Громогласный бас его потом слышно было по всему Шингак-кулю. Расставлял охотников, инструктировал, сам в сапогах до горла, что тебе егеря на охотхозяйстве. За ним всюду шмаляла его дурная собака Альма. Часов в шесть вечера начиналась пальба. Во все направления. Уток трепало в небе догоняющими выстрелами. Зарипов гнал Альму за утками. Альма не шла, подпрыгивала к его лицу. Чечин сидел в обнимку с ружьём. В камышах. Терпел. Зараза Альма долго лаяла над ним. Думала, что утка.

В январе, когда прилетали с очередной вахты, опять отправлялись. Теперь кавалькада катила на подлёдную. Зарипов, конечно, впереди. Опять расставлял, указывал, где бурить лунки. Сам в пышной песцовой шапке с дом, в реглане, в унтах. Рядом с сидящими рыбаками были воткнуты пешни. Рыбаки терпеливо трясли над лунками короткие прутики. Иногда вытаскивали ими. Вытащенные щуки на льду замерзали не сразу. Долго елозились, изгибались. Подобно вялым, вязким мечам. Чечин поглядывал. Старался не отставать. Тряс. Тоже вытащил в конце концов. Щуку. Одну.

В вестибюле не останавливаясь прошёл мимо зеркала в квадратной колонне, перед которым несколько дней назад торчал как дурак, стал подниматься по прохладной каменной лестнице на второй этаж.

Зарипов нисколько не изменился. Правда, нацеплялось на его чёрные кучеря немало белых волосков. Как ниток с подушки. И – очки. Поверх которых смотрели на вошедшего

чёрные живые глаза.

– Ну что же ты не идешь? – точно и не прошло семи лет, сказал он, привстав и отдав руку Чечину. Сразу же снял трубку. Чечин вспомнил вдруг, как он гордо, по-татарски, рубил руками, будто топориками, на свадьбе в танце вокруг Веры.

Чечин почему-то оглох, почти не слышал, о чём говорил в телефон начальник, оглядывался, вытирался платком. В груди возникала и пряталась сильная нервная дрожь. Чувствовал, что нужно встать и уйти пока не поздно. Пока с ним что-нибудь не случилось. Здесь, в этом большом кабинете.

Зарипов положил трубку.

– Ну, как дела, нефтяник?

– Всё в порядке, Анвар Ахметович. Иду ко дну! – неожиданно для себя дурашливо ответил Чечин. И опять вытер пот.

Зарипов, казалось, не замечал ничего.

– Слышал, слышал о твоём несчастье. Жалко Веру. Сочувствую. – Зарипов смотрел в окно, гонял в пальцах карандаш.

– В общем, пойдёшь к Питоеву. Знаешь такого? Ну и прекрасно. Но – только двести пятьдесят. У нас не Север. Согласен?

– Спасибо, Анвар Ахметович! Спасибо! – У Ивана вдруг вырвалось: – Век не забуду! – И чуть не заплакал, отвернув голову в сторону.

Зарипов уловил, наконец, состояние Чечина.

– Ну что ты, Ваня. Ты же мой ученик. Я всегда помогу. Всё наладится у тебя. Поверь. Я тоже похоронил жену. Три года уже прошло. Ты хоть не бегал, не трепался. А я своей, бедной, много крови попортил. Помнишь нашу бригаду, Ваня? Славные были времена. Могли мы тогда и поработать, могли и отдохнуть. Не то что нынешние жлобы вокруг.

Иван встал, наконец, чтобы уйти. Зарипов, приобняв, повёл к двери:

– Приходи, Ваня. Всегда приходи, если что. Приезжайте с Геннадием на дачу ко мне. Я ведь один в ней остался. Дети разлетелись. Сходим на рыбалку. За грибами.

– Спасибо, Анвар Ахметович, обязательно! – бормотал Чечин, выходя из кабинета.

Потом высокий крупный мужчина смотрел в окно, как посетитель переходил дорогу. Как пропускал и пропускал машины, отскакивая на поребрик. Как перейдя её, наконец, по минутно останавливался и вытирался платком... Больной? Пьёт? Зарипов не успел додумать – зазвонил телефон. Зарипов подошёл, взял трубку:

– Да!

Вечером Иван поехал автобусом на кладбище возле горы. Ждал и Евгению с работы, но не дождался. Пустой автобус на конечной сделал круг и покатил назад в город.

Лежащие с похорон цветы давно завяли. Жалко свисли с могилы. Чечин принялся всё убирать.

Потом, взяв чью-то скамейку, он сидел возле Вериной пирамидки со звездой, смотрел на закат и думал, что прожил жизнь не так, как хотел. Он всегда занимался не своим делом. Он любил музыку, джаз. Всегда тянулся к музыкантам. Бесталанный, хотел подражать им во всём, походить на них. Даже внешне. А те над ним потешались. В школе сверстники чурались его, считали смурным. Издевались. А когда он однажды хорошо ответил одному – стали считать психом. У него был только один верный друг, Генка. Который остался таким и сейчас.

– Вера, как любая живая душа, я хотел сказать что-то людям. Заявить о себе как-то. Прокричать. Так в юности у меня появилась шарманка. Каждый вечер люди слушали хорошую музыку. Я был счастлив. И меня за это посадили. У меня было в жизни два родных человека – бабушка Людмила Петровна и ты, Вера. Обеих вас уже нет. Я всегда ненавидел грязь, стремился к чистоте, порядку во всём, уюту, а работал многие годы на буровых. В грязи и холоде. Никогда я не бо-

лел, не знал, что такое врачи, поликлиники. А сейчас у меня постоянно рассыпается в груди дрожь и наворачиваются слёзы.

– Даже для тебя, Вера, я был недалёким неуклюжим плохим мужем. Ничего тебе хорошего дать не смог.

Чечин заплакал. Открыто, беззащитно. Как когда-то его отец. Ничего не видел от слёз. Ни заката, ни всего предночного неба над головой.

Дома на Восточной перед тарелкой супа сидел с остановленными глазами. Не слышал, о чём ему говорит сестра. Забыто мял хлеб. Мякиш.

Оформившись в отделе кадров, уже в фирменной синей спецовке с белой блямбой во всю спину «Ишимбайнефть» Иван Чечин отправился с Питоевым через два дня на первую свою трудовую смену. К Восточным скважинам болтались в кабине громоздкой мастерской на колёсах по пыльной дороге. Чернявый Питоев рулил, расспрашивал о Севере, называл фамилии братьев-нефтяников, которых Чечин должен знать. Иван некоторых знал, некоторых нет. Показались, наконец, двухплечие работающие станки-качалки, издали похожие на трудолюбивых кузнецов.

К шести часам проверили пять станков. Питоев оказался дотошным: лазил по каждой качалке, тщательно проверял. И приборами, и на глаз. Показывал все операции Ивану. В шестом станке нашли небольшой сбой в редукторе. За полчаса исправили неполадку. Питоев, видя, что большая башка в бейсболке схватывает всё на лету, оставил её закрыть редуктор кожухом, а сам покатил к последней качалке, мотающейся в полукилометре.

Иван заворачивал уже последний болт, когда у него вдруг потемнело в глазах. С большим ключом в засученной грязной руке сполз на землю. Разбросил ноги. Уже не мог вздохнуть, терял сознание. Бог сидел на облаке. Как на ветхом диване. Свесив голые ноги, с печалью смотрел вниз.

Нудно, будто железные детские качели во дворе, скрипела качалка. Облако над горой подпирал закат. За горой была Татария, другой часовой пояс. Туда в 80-ые после семи октябрьские мужики гоняли на машинах за водкой.